

Г. Н. ПОТАНИН

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧОКАНЕ ВАЛИХАНОВЕ

Чокан был сын Чингиса Валиевича Валиханова и внук последнего хана Средней киргизской орды Вали-хана, по [имени] которого он и носил фамилию*¹. Чокан было его уличное имя, данное ему в детстве; мусульманское его имя было Мухаммед-Ханафия. Судя по тому, что он поступил в Сибирский кадетский корпус в 1847 г. (осень), а в корпуса поступали в десятилетнем возрасте, — родился он в 1837 году*². Где он родился, мне не известно. Родовая зимовка Валихановых находилась в Кокчетавском округе Акмолинской области, в местности Сырымбет; тут в 30-х годах нашего столетия были для Валихановых построены на счет правительства деревянный жилой дом и мечеть. Но отец Чокана в половине 40-х годов только временно наезжал в Сырымбет, а жил он в это время в местности Кушмурун, близ вершин Тобола; он в это время стоял старшим султаном*³ Кушмурунского округа, который состоял из земель, лежавших вокруг вершин Тобола*⁴; в местности Кушмурун (к востоку от Тобола) прошло детство Чокана. Когда Чокан поступил в кадетский корпус, я не помню, чтобы он что-нибудь рассказывал о Сырымбете; все его детские воспоминания, кажется, относятся к Кушмуруну. Впрочем, Чингис Валиевич, кажется, ранее выхода Чокана из корпуса оставил Кушмурунский округ и переехал в Сырымбет, так что в последние годы пребывания в корпусе Чокан ездил летом в отпуск в Сырымбет, а уже не в Кушмурун.

Эта местность, где провел детство Чокан, представляет плоскую, унылую с безграничным горизонтом степь, не оживленную, как местности Кокчетавского округа, скалистыми горами, перелесками и горными озерами.

Дед Чокана, Вали-хан, по семейным преданиям, не отличался способностями народоправителя, как прадед Чокана — Аблай-хан, прославившийся отдаленными походами (один набег Аблай-хан сделал в Джунгарию к подошве Хан-Тенгри в Тянь-Шане) и дипломатическими сношениями с соседними государствами. Вали-хан любил жуировать и был поклонник прекрасного пола...

Чингис Валиевич, отец Чокана, получил русское образование в Омске, в войсковом казачьем училище, т. е. в том самом, в которое потом поступил и Чокан, но во времена Чокана оно уже было преобразовано в кадетский корпус.

Мать Чокана, Зейнеп, была дочь бия Баян-Аульского округа, Чормана. Родной брат Зейнеп — Муса Чорманович Чорманов, дядя Чокана, переживший племянника, был очень влиятельный человек в степи, пользовался уважением степных властей, имел чин русского полковника, подолгу жывал в Омске, раза два ездил в Петербург и вообще был один из наиболее европеизированных киргизов. Муса Чорманович умер в 1887 году*⁵.

Чокан был старший сын у Чингиса Валиевича. Кроме того, у Чингиса Валиевича были еще дети: сын Махмуд, другой сын — глухонемой (Мақы), дочь Нурида, которая в настоящее время замужем за Садвокасом, старшим сыном Мусы Чорманова.

Чокан был привезен в Омск осенью 1847 г. Его привез В. И. Дабшинский, переводчик киргизского языка, состоявший при так называемом пограничном начальнике, т. е. при генерале, заведовавшем киргизами Сибирского ведомства.

Я увидел Чокана в первый раз еще до его поступления в корпус, именно в квартире В. И. Дабшинского. Как это случилось, я не помню; до этого визита я никогда у Дабшинского не бывал.

Я уже в это время прожил год в корпусе, а потому, вероятно, меня избрали нарочно в первые знакомцы Чокану, чтоб он не так сильно почувствовал свое одиночество, когда его наконец оставят в стенах корпуса. Чокан ни слова не знал по-русски и уже тогда любил рисовать карандашом; Дабшинский показывал картинку, нарисованную Чоканом уже в Омске; русский город поразил мальчика, и он изобразил карандашом один из городских видов.

Войсковое казачье училище только перед поступлением Чокана было преобразовано. До 1846 года это была казачья бурса; часть учителей, особенно в низших классах, была урядниками; обращение с воспитанниками было грубое; обедали воспитанники из оловянных тарелок деревянными ложками; в классах все было основано на долблении от сих и до сих; за неуспехи и шалости сильно пороли. Преобразование началось с того, что из Петербурга были присланы офицеры-воспитатели; старая посуда заменена фаянсовой, ложки даны серебряные, пищу значительно улучшили, воспитанникам стали говорить «вы». Но самая главная реформа была произведена в классах: молодой артиллерийский капитан Ждан-Пушкин, служивший в строю на Кавказе, был назначен инспектором классов. Он внес новый дух в заведение.

Ждан-Пушкин был разносторонне образованный человек; он знал французский, немецкий и английский языки, был отлично знаком с историей европейской литературы, особенно английской, и с историей вообще. Случалось, что иной предмет останется без преподавателя — Ждан-Пушкин брал преподавание на себя. Так он временами читал нам алгебру, всеобщую историю и артиллерию, и каждый предмет он читал лучше учителя. Но, главным образом, его благородный и открытый характер оставлял глубокий след в умах его питомцев; кадеты старались подражать ему.

Первым его делом было сформировать новый состав учителей. Из старых он оставил только трех, в том числе Костылецкого.

Костылецкий преподавал русский язык и русскую словесность. Он был, собственно, ориенталист, кончил курс в Казанском университете по восточному факультету, готовился в драгоману*⁶ в Константинополь, но так как был казак, то должен был вернуться на родину, в Сибирское казачье войско, где его сделали преподавателем русского языка в войсковом казачьем училище. Он знал хорошо языки арабский, персидский и особенно наречие казанских татар. Сначала Костылецкий возмущался назначением учителем русской словесности и тем, что его отрывали от занятий, к которым он чувствовал призвание, но потом примирился с предметом и даже, как он говорил, очень полюбил его. Костылецкий был друг ориенталиста Березина, доставлял ему материалы о киргизском наречии, собирал образцы киргизского народного творчества, имел несколько вариантов киргизской большой сказки о Козы-Корпеше. Для него, конечно, Чокан был очень интересный субъект. Для кадет Костылецкий имел большое значение; он отличался независимым характером и был очень остроумен; пошлость он преследовал язвительными насмешками; он был поклонник идей Белинского и почитатель таланта Гоголя; в своей истории словесности он руководствовался статьями Белинского, что потом одним из генералов — инспекторов, ревизовавших корпус (не помню, Клюпфелем или Анненковым) было поставлено ему в упрек.

Другой из оставленных старых учителей был Евгений Иванович Старков, так же, как и Костылецкий, родом сибирский казак, [он] также был очень способный человек, но получил образование только в войсковом казачьем училище и дальнейшего усовершенствования в науках не мог получить, потому что как казак должен был по выходе из училища остаться на службе в войске. Он отличался необыкновенной памятью, предмет знал хорошо и читал добросовестно, был очень добрый человек, тихий, задумчивый и рассеянный. Ждан-Пушкин просил его познакомить нас поподробнее с географией Киргизской степи, что Старков и сделал; потом он далее напечатал свой «Географический очерк Киргизской степи»*⁷. Это было для кадет очень полезно, потому что многим из них, особенно казакам, пришлось подолгу служить в Киргизской степи и ходить по ней в поход.

Для преподавания истории Ждан-Пушкин выписал молодого учителя Гонсевского. Гонсевский был сначала студентом Виленского университета, потом с закрытием последнего перешел в Казанский. Это был из наших учителей самый начитанный; он продолжал следить за своей наукой, выписывал много книг и, по-видимому, готовился к более серьезной профессии, чем преподавание в провинциальном среднем учебном

заведении. Феноменальная застенчивость указывала на какую-то духовную ненормальность его, и рассказывали, что, уехав вскоре в Россию, он застрелился. Лекции его имели для нас большое значение.

В кадетских корпусах историю по программе позволялось доводить только до 1815 года, но Гонсевский, конечно, с разрешения Ждан-Пушкина, довел ее до 1830 года. Особенно подробно он прочел нам историю Великой французской революции, выставив ее культурные заслуги для европейского общества, сочувственно изобразив главных ее деятелей, что несколько не изменило наших чувств в отношении к своему правительству и все мы из-под руки Гонсевского вышли глубокими монархистами.

Не так удачно был выбран учитель естественной истории, один из служивших в Омске докторов. Он не имел никаких лишних познаний по своему предмету сверх того, что заключалось в обязательных для кадетских корпусов учебниках зоологии и ботаники Даля.

Для преподавания закона божия Ждан-Пушкин сманил из Тобольской семинарии молодого бакалавра А. И. Сулоцкого и уговорил его принять священнический сан, чтоб одновременно [он мог] быть и корпусным священником. Сулоцкий сделал свои уроки занимательными, оживлял их интересными для детей рассказами, иллюстрируя их примерами, которые он брал отовсюду: из священной истории, из обыденной жизни и природы. Для нас они были важны; мы видели, что человек убежденный говорил нам о том, что земные цели должны быть подчинены высшим идеалам. Другие все учителя обогащали наш ум только знаниями, три учителя: А. И. Сулоцкий, Н. Ф. Костылецкий, Гонсевский воспитывали в нас убеждения. Чокан обыкновенно присутствовал на уроках Сулоцкого*⁶⁴.

Математика у нас шла не так хорошо. Специально подготовленный учитель не был выписан, и Ждан-Пушкин обыкновенно приглашал читать этот предмет кого-нибудь из офицеров, служащих в Омске. Только Кучковский, один из старых оставленных учителей, родом также казак, как и Костылецкий, толково и ясно преподавал геометрию. Не совсем удачен также был выбор преподавателей специально военных наук: тактики, артиллерии, фортификации и геодезии.

Для этого также приглашались случайные преподаватели из офицеров. Впрочем, это не были люди, не знающие своего предмета, а только не совсем умелые преподаватели. Так, Гутковский был человек с обширными и разносторонними знаниями, но читал физику, артиллерию и тактику плохо.

Не боясь солгать, можно выразиться, что Сибирский кадетский корпус был в то время лучшим учебным заведением во всей Сибири. Даже Иркутская и Тобольская гимназии уступали ему в выборе хороших учителей, но говоря уже о Томской, в которой в это время все учителя были какие-то допотопные фигуры. Поэтому в отношении учебных занятий детство Чокана было обставлено недурно.

Одним из первых актов преобразования бывшего войскового казачьего училища в кадетский корпус было разделение воспитанников на две части: роту и эскадрон. В роту были отделены дети чиновников и пехотных офицеров, эскадрон состоял исключительно из детей казаков. Чокана определили в эскадрон, вероятно, из соображения, что между детьми казаков найдутся знающие киргизский язык и ему на первых порах не будет так скучно. Между нами, казачатами, действительно были болтавшие по-киргизски. В эскадроне ему и потом было сподручнее, потому что казаки все-таки ближе к киргизам по роду своих занятий скотоводством, по знакомству со степной жизнью, по вкусам к наездничеству и т. д. Киргизский барчонок, потомок киргизских ханов, будущий киргизский аристократ попал в совершенно плебейскую среду, потому что многие кадеты эскадрона были дети офицеров, выслужившихся в офицеры из простых казаков, и в эскадроне, в противоположность роте, господствовали казачьи предания самого плебейского свойства. Эта жизнь в плебейской среде, вероятно, не осталась без влияния

на образование демократических мыслей Чокана. Кадеты роты и эскадрона были отделены и в дортуарах*⁹, и в классах. Приехавшие из Петербурга офицеры сделаны были начальниками в роте; в эскадроне оставлены казачьи офицеры из состава прежнего казачьего училища. Им было приказано следить за нововведениями, которые делались в роте, и вводить те же порядки в эскадроне. Кадеты чувствовали, что эскадрон принижен. Это сознание приниженности сплачивало эскадронных кадет между собою, что сказывалось особенно на каких-нибудь работах, где приходилось роте и эскадрону соревноваться.

Литературные идеи в корпус вливались через роту, потому что ротные кадеты происходили из семей более интеллигентных, но товарищеский дух был сильнее в эскадроне, чему способствовало и то, что число эскадронных кадет было значительно менее. Заговоры эскадронных кадет отличались непоколебимой стойкостью*¹⁰. В свою очередь и для казаков было полезно, что в их среде живет киргиз; бойкий и остроумный киргизский мальчик приучил казаков к расотерпимости.

Жизнь в корпусе была соединена для Чокана с большой ломкой его степных привычек. Киргизы обыкновенно подолгу, до полночи сидят вокруг костра, занимаясь разговорами и передачей новостей, а утром долго спят, хотя вне юрты уже давно белый свет, так что казачьи отряды нередко делали набеги на спящий аул, подъехав к нему при полном дневном свете никем не замеченные. Совершенная противоположность монголам, которые встают до восхода солнца, Чокану было ужасно трудно вставать с постели. Он всегда вставал последним. Будить его нужно [было] осторожно, в противном случае он вскакивал как угорелый и, ничего не помня, кидал в товарища сапогом.

Начальником эскадрона был Кучковский (тот самый, о котором я уже говорил как о хорошем учителе геометрии). Кадеты не любили его и называли «змеей» за то, что он любил входить в комнату неслышными шагами, причем ему часто удавалось заставить кадетов за шалостью или праздно сидящими и праздноболтающими. Тогда следовали, конечно, маленькие кары вроде «без последнего блюда», а иногда и больше - «без отпуска в воскресенье». Но, в сущности, это не был злой человек, а только по наружности сухой и несимпатичный. Из детских шалостей он не делал все-таки криминальных происшествий, и кары его не выходили за пределы домашней расправы. На педагогических советах он нередко горячо отстаивал или шалуна, или малоспособного кадета, которому грозило исключение из заведения, отстаивал во имя того, что не следует из-за этого портить всю будущую жизнь ребенка*¹¹.

Кучковский воспитывал нас в суровой дисциплине. Вообще ни среди наших офицеров, ни среди наставников почти никто не относился к кадетам с ласкою. Костылецкий также не был из тех, которые ласкают. Гуманные и добрые Сулоцкий и Старков были робки для того, чтобы обнаруживать приливы нежного чувства. Только один Гонсевский смело давал волю своему сердцу в этой казарме маленьких детей.

Развивался Чокан быстро, опережая своих русских товарищей. Кроме природного ума, он имел к тому и другие преимущества. По воскресеньям тех кадет, которые имели родственников или знакомых в городе, отпускали в город. У Чокана ни родных, ни знакомых в городе не было. Но им интересовались многие — киргизский мальчик, и притом такой способный, уже рисует, прежде чем поступил в заведение. Поэтому его охотно брали к себе в отпуск те, которые ценили такое необыкновенное явление.

В течение первой зимы после поступления в корпус Чокан ходил в отпуск к чиновнику Сотникову. А. А. Сотников служил в управлении Киргизской степью; это был ориенталист, студент Казанского университета по восточному факультету, ходил, кажется, в степь начальником целого казачьего отряда и, как мне говорил Чокан, напечатал в какой-то литературной газете статейку «День в киргизском ауле». Чуть ли это не был описан день, проведенный автором в ауле Чингиса Валиевича, Чоканова отца, в Кушмуруне. Это был способный человек, но неукротимый, дикий характер сгубил его. Он постоянно делал скандалы; то прострелит кому-нибудь ногу, то, переодевшись киргизским

джигитом, отлупит нагайкой своего врага, полковника, едущего в сумерки на дорогах из гостей. Кончил он тем, что его осудили и сослали на север Енисейской губернии. Оттуда он прислал в Омск остроумное описание жизни «на краю света», как он выражался. Его перевели потом в более благодатный край, в Забайкалье. Переезжая через Байкал, он бросился с борта парохода в воду и утонул.

После Сотникова Чокан сейчас же нашел покровителя в лице Померанцева. Это был молодой, веселый и беззаботный офицер Генерального штаба, бывший нашим учителем рисования. Квартира его была настоящая мастерская художника, да и сам хозяин был художественная симпатичная натура. Он резвился и шалил с приходившими к нему кадетами, как будто сам был ребенком.

После Померанцева Чокана брал к себе Гонсевский, учитель истории. Для умственного развития Чокана это знакомство было самое важное.

В последние годы своего пребывания в корпусе, когда уехал Гонсевский, Чокан стал ходить в дом Гутковского, который был в родстве с семейством сибирского чиновника Капустина*¹². В этих двух домах завершилось знакомство Чокана с внешкольной жизнью. В доме Капустина было много девиц, и это привлекало в него много молодежи. Молодежь, искавшая одних светских удовольствий и сытых угощений, [бывала] в доме откупщика Маршалова, где тоже было несколько девиц-невест; молодые же люди со вкусом к литературе и искусству посещали дом Капустина. Это был маленький клуб избранной омской интеллигенции, светилом которого был Карл Казимирович Гутковский, поклонник Кювье*¹³ по философским вкусам, энциклопедист. Здесь собиралась лучшая омская молодежь; ни один замечательный проезжий не оставлял города, не побывав в этом доме.

Если через Омск ехал какой-нибудь путешественник, Гутковский ловил его, вез к себе в дом, а потом в семейство Капустиных. Дуров, товарищ по заключению Достоевского, был также постоянный посетитель вечеров у Капустиных после того, как, отсидев свой срок в «мертвом доме», был выпущен на свободу и жил в Омске, не имея еще права вернуться в Россию.

Это знакомство с самыми лучшими, гуманными и просвещенными домами в городе давало быстрый ход развитию умственных способностей Чокана. Беседы с Гонсевским познакомили его с политическими взглядами уже тогда, когда для его товарищей, и в том числе для меня, это была закрытая еще книга. Он уже был взрослый, тогда как мы, старше его летами, были по сравнению с ним еще мальчишками без штанов. То, что он знал, в чем превосходил нас, он не пропагандировал в товарищеской среде, но при случае беспрестанно обнаруживалось его превосходство в знаниях. Как бы невольно он для своих товарищей, в том числе и для меня, был «окном в Европу».

Каждый класс у нас имел своего вожака. Наша школьная среда была так мало интеллигентна, что в классе, в котором был Чокан, вожаком был вовсе человек без умственного таланта. Это был мальчик с практическими наклонностями. Он начал с того, что каждое воскресенье вечером становился у входных дверей, встречал возвращающихся из отпуска кадет и выпрашивал у них конфет, которые те всегда приносили. Он не съедал их, а в середине между воскресеньями, когда все остальные кадеты свои конфеты уже истребили, он предлагал их лакомкам в обмен на карандаши, бумагу и проч. Таким образом, у него вырос магазин всяких канцелярских принадлежностей, бумаги, карандашей, перочинных ножей, резинок и пр. Все это он опять ссужал товарищам за разные услуги: за снабжение записками по предметам преподавания, за репетирование и пр. Благодаря этому он учился сносно, хотя вовсе был лишен способностей. Чокан объявил ему войну; он начал преследовать с детской жестокостью его торгашество насмешками и вооружил против него товарищей. Маленький мироед был разоблачен и уничтожен и, оставленный без тетрадок и помощи, захудал окончательно в успехах по обучению. Низложив противника, Чокан сделался вожаком своего класса. Но он не мог оставаться без борьбы или без [выбора] мишени для насмешек; он открыл поход против

вожака нашего класса. Вкусы нашего класса были как будто повыше; наш вожак был хороший рисовальщик и забавный рассказчик, но господство его в классе, может быть, было более основано на том, что он изрос годами и был уже вполне сформировавшийся мужчина. Литературой он не интересовался и ничего никогда не читал; вероятно, Чокану было бы нетрудно изложить его, но кампания Чокана была начата поздно, оставалось недалеко до нашего выхода из корпуса; мы вышли в офицеры, что и положило конец начатой кампании Чокана.

Мое сближение с Чоканом не началось со дня поступления его в корпус. После свидания у Дабшинского мы жили некоторое время врозь. Чокан не знал по-русски, я не знал по-киргизски. Но потом, когда он подучился по-русски, и особенно когда я приобрел страсть к чтению, заинтересовался путешествиями и географией Киргизской степи, некоторые части которой были еще неизвестны, я стал водить знакомство с Чоканом. Все, что меня интересовало, я начал записывать для памяти; сначала я носил эти записки в карманах, которые поэтому Костылецкий прозвал «шуадой»¹⁴, и время от времени он любил выгружать их. Впоследствии я нашел это неудобным и завел большую тетрадь. В это время география и этнография Киргизской степи сделались для меня любимым занятием, и Чокан помогал мне наполнять тетрадь своими рассказами. Таким образом, мы занесли в нее обстоятельное описание соколиной охоты у киргизов. Чокан, как многие киргизские барчата, должно быть, еще с раннего детства увлекался картинами этого степного удовольствия и отлично знал подробности ухода за соколами и вообще охоту у киргизов. Он рассказывал, я записывал, он потом иллюстрировал мой текст рисунками натрусов, соколиных наглазников, соколиных постаментов, барабанов, пороховниц, ружей и пр. С этой поры мы стали друзьями, и наши умственные интересы более не разлучались, нас обоих интересовал один и тот же предмет — Киргизская степь и Средняя Азия.

Чтение мы имели бедное. Ученическая библиотека была составлена почти исключительно из биографий русских генералов и описаний разных войн. Самые интересные книги были: «Путешествие Дюмон-Дюрвиля», обработанное для детей, «Записки Манштейна», «История» Карамзина и чья-то биография Наполеона Банопарта. Да и эти книги доставались нам с трудом; Кучковский не любил выдавать их и всякие отговорки употреблял для того, чтоб отказать в просьбе. Для меня было большим счастьем, когда начальство разрешило Чокану брать книги из Фундаментальной библиотеки. Это в нашем развитии была эпоха, когда Чокан принес из недоступного книгохранилища «Путешествие Палласа»¹⁵ и «Дневные записки Рычкова»¹⁶. Толщина книг, их формат, старинная печать, старинные обороты речи и затхлость бумаги — как это было удивительно, необыкновенно, полно поэзией старины! После прочитанного в более раннем детстве «Робинзона Крузо» ни одна книга не оставила во мне такого впечатления, как эти путешествия прошлого века. С увлечением мы читали книгу Палласа, особенно те ее страницы, в которых описывались родные для нас места или ближайшие к ним. Что показалось путешественнику замечательным в этих местах, что он нашел достойным занести в свой дневник, это нас с Чоканом особенно интересовало.

Не будем ли мы подражать впоследствии путешественнику? Чтение это указало нам наше призвание. Если бы нас спросили, что нужно сделать, чтобы вызвать в сибирском обществе любовь к занятиям географией, историей и этнографией своей страны, мы посоветовали бы сделать дешевое издание путешествий академиков прошлого столетия и разослать во все ученические библиотеки народных школ и учебных заведений Сибири.

Уже в то время, т. е. когда Чокану было 14-15 лет, кадетское начальство на него начало смотреть как на будущего исследователя и, может быть, ученого. Сам Чокан мечтал о путешествии по Средней Азии. Один из моих однокашников рассказывал мне впоследствии¹⁷, что у него сохранилось воспоминание, как он был поражен в детстве мечтами Чокана, показавшимися ему необыкновенными. Группа кадет стояла у задних ворот корпусного двора, выходивших на Иртыш. Отсюда открывается вид на степь, которая расстилается на противоположном берегу Иртыша. Характер этой картины уже

совершенно степной: безлесая равнина с уходящим в бесконечность горизонтом. Чувствуешь, что стоишь у ворот в среднеазиатские пустыни. Чокан стоял в группе и развивал свою мечту, может быть, он проникнет в эту степь до южных пределов, где начинается самый Дальний Восток, где начинается загадочный Китай. Сколько он вывезет новостей из terra incognita, которая чуть не у самого забора корпуса начинается.

Чокан много читал в то время. Чтение развило в нем критические способности, приложением которых он удивлял нас как в области нравственных вопросов, так и в области восточной филологии, которая становилась уже его специальностью. Иногда товарищи обращались к нему за разрешением затруднявшего их вопроса: «Чокан, как бы в этом случае следовало поступить благородному человеку?» Никто в нашей среде не решал эти вопросы легче и вернее Чокана, но никто в то же время не полагался на Чокана, что он сам непременно поступит, как он думает. Он поступал не как думал, а как его принуждала его природа.

Математика не удавалась Чокану, и начальство смотрело на это снисходительно. Однажды Пушкин вошел в класс, в котором кадеты готовились к экзамену. Они собрались вокруг большой черной доски; один из лучших учеников по математике писал на доске и объяснял. Чокан сидел в глубине класса, вдали от этой группы, и смотрел в потолок. Пушкин, войдя в класс, спрашивает Чокана: «Валиханов! Вы что не готовитесь?»

Чокан смело отвечал: «Если я встану к доске вместе с другими, это будет простое притворство, потому что слушать я все-таки не буду. Если в течение года от самого учителя не мог постигнуть эту науку, то постигну ли ее в течение двух-трех часов от второстепенного преподавателя?»

«Идите за мной!» — сказал Пушкин.

Он увел его в инспекторскую комнату; кадеты думали, что Пушкин запер его, чтобы потом по окончании классов высечь. Но Пушкин посадил его в своем инспекторском кабинете к столу и дал ему читать книжку «Современника».

Русская литература для нас кончалась Пушкиным, Гоголем и Лермонтовым; ни о Гончарове, ни о Тургеневе, ни о Достоевском мы не слыхали; имя Белинского также нам было неизвестно, хотя Костылецкий руководствовался его идеями. Из иностранной беллетристики к нам проникали уже Диккенс и Теккерей. Английскую литературу у нас пропагандировал, конечно, но переводам, Чокан; он любил читать об Англии и английской жизни, а манере английских путешественников хотел подражать; Диккенса, кажется, любили в семействе Капустиных; Диккенс был тогда у всех на языке.

В 1852 г. я вышел в офицеры и пожелал записаться в тот казачий полк, управление которого находилось в Семипалатинске. В тот же год меня назначили в отряд, который под начальством полковника Перемышльского должен был идти в Заилийский край. Перемышльскому было поручено положить начало русской власти в Заилийском крае. Наш отряд занял долину р. Алматы; таким образом, было положено начало городу Верному. Я пробыл в этих краях, т. е. в нынешней Семиреченской области, два года. После того я возвратился сначала в Семипалатинск, затем был переведен в другой полк, расположенный на Алтае между Бийском и Усть-Каменогорском. Все это время я не переписывался с Чоканом и только слышал, что и он вышел в офицеры. Он должен был выйти после меня через два года; у нас в корпусе было три класса и в каждом сидели по два года. Однако Чокана выпустили годом раньше, чем его сверстников. Как инородца его нашли неудобным оставлять на тот курс, на котором читаются специально военные науки: тактика, артиллерия, фортификация и др. Тотчас же по выходе из корпуса его сделали адъютантом при генерал-губернаторе.

В 1857 г. я был вызван на службу в Омск и здесь снова увиделся с Чоканом. Всего мы не виделись лет пять.

Чокан жил в это время в центре города, той его части, которая называется Мокрое. В этой же части жил и Гутковский, в семействе которого Чокан постоянно обедал и был принят как родной.

Мокрое было тогда самой грязной в летнее время частью города; в дожди на его улицах стояли лужи во всю их ширину. Оно было расположено на правом берегу Оми, на нижней террасе, которую в большую воду иногда заливало. Теперь по лицевой стороне Мокрого вытянулась линия каменных домов с лучшими магазинами в городе; тогда этих домов не было, а на их месте была Сенная площадь. Тогдашняя лицевая линия Мокрого состояла из деревянных небольших домов, из среды которых выдавался один неуклюжий и высокий дом с мезонином вместо третьего этажа. Это был дом купчихи Коробейниковой. Чокан называл его «Вестминстерским аббатством Мокрого». Рядом с ним был небольшой дом с обращавшими на себя внимание ставнями, в которых были прорези в виде сердечка; эта была квартира Дурова.

Мы виделись с Чоканом часто. Или я ходил к нему на Мокрое, или он заезжал ко мне. «Вестминстерское аббатство Мокрого» я как будто сейчас вижу; осталось оно у меня в памяти потому, что всякий раз я должен был проходить мимо него, когда шел к Чокану. Домик, в котором он жил, был деревянный одноэтажный, приземистый, окна у самой земной поверхности; внутри квартиру Чокан умел устроить уютно; он любил хорошую барскую обстановку; стол его был уставлен дорогими безделушками, расположенными в красивой симметрии. Одевался Чокан всегда с иголки; зимой ходил в военной шинели с бобровым воротником, ухаживал за ногтями и на одном пальце отпускал ноготь покитайски. Очень любил Чокан красивые вещи, и портсигаров у него была целая коллекция. Выбирал он, однако, не за дороговизну, а за какую-нибудь мысль, которую умел прочесть в рисунке. На одном портсигаре была изображена крыса, сверлящая буравчиком земную поверхность. Это, по мнению Чокана, был изображен геолог.

В это время по Западной Сибири путешествовал П. П. Семенов, сначала он проехал через Омск в Заилийский край и посетил окрестности Иссык-Куля и Хан-Тенгри, высшей точки в Тянь-Шане, а на зиму выехал в Барнаул. Проездом через Омск он познакомился с Гутковским и в доме его увидел Чокана. П. П. Семенов поддерживал в Чокане стремление ехать в Петербург для того, чтобы прослушать университетский курс по восточному факультету. Я застал Чокана с восторженными воспоминаниями о только что проехавшем путешественнике. И еще бы Чокану не обрадоваться этому знакомству. Чокан все более и более углублялся в историю Востока; какие-то загадочные отношения киргизского племени к этой истории, среди которого являлись имена древних народов — усуней, киреев, найманов — в качестве имен поколений заставляли его задумываться и, может быть, мечтать сделать разоблачения в древней истории Востока посредством данных, которые представляют народные предания и остатки старины киргизского народа. Когда он перечитывал о хунну, о тукии, о жуан-жуанях и уйгурах, вдруг приезжает в Омск переводчик Риттера, который только что перевел тот том «Землеведения Азии», который трактует этот предмет и старается распутать его. П. П. Семенов привез рукопись перевода и часть ее дал Чокану прочесть.

Чокан строил план, что он и я сначала отправимся в Петербург слушать лекции в университете; я должен был поступить на естественноисторическое отделение физико-математического факультета; я тогда откуда-то добыл «Русскую фауну» Симашко и увлекался естественной историей. Чокан должен был прослушать курс на восточном факультете. По выходе из университета предполагалось, [что] мы поедем путешествовать в Среднюю Азию, в непроницаемый Китай. Он увлекался этим планом и без удержу строил воздушные замки. Меня сдерживало сознание моего крепостного положения. Как казак я должен был трубить двадцать пять лет лямку казачьего офицера и не смел думать ни об университете, ни о путешествии в Среднюю Азию. Я иногда высказывал мнение, могу ли я ему сопутствовать, но он не унимался и продолжал развивать перед мной свои фантазии. Ему доставляло удовольствие вслух мечтать о любимой цели, и в то же время стыдно было, что он сочиняет свой роман перед человеком, у которого только слюнки текут от его рассказа, и из жалости ко мне он всегда непременно пристегивал меня к своему стремлению и заставлял вместе с собой бродить по берегам Кукунора, карабкаться на

вершины Тибетских гор, отыскивать развалины Каракорума, могилу князя Ярослава в Монголии или ставку среднеазиатского хана*¹⁸, к которому ездил Земарх послом от византийского императора Юстиниана.

В это время Чокан познакомил меня с Гутковским; Гутковский поручил мне разбор Омского областного архива. Гутковский управлял тогда киргизами Сибирского ведомства. Первые по времени тома областного архива, или «столпушки», как называл их архивариус, состояли из бумаг бывшей в прошлом столетии «Военно-походной канцелярии генерала Киндермана». Киндерман был начальником войск, расположенных по пограничной линии от Звериноголовской крепости до Омской, и заведовал всякими сношениями с пограничными народами. Это относилось к половине прошлого столетия. Соседями пограничной линии были киргизская Средняя орда, ханом которой был Аблай, дед Чокана, и Джунгарское (Калмыцкое) ханство, в архивных делах называвшееся Зенгорским. В архиве генерала Киндермана сохранились известия о приходе на линию зенгорских караванов из Кашгара и Яркенда с показаниями о родах товаров, рассказы лазутчиков, которых Киндерман посылал под разными предлогами в Зенгорские земли и т. д. Я принялся за это дело усердно, и эта работа еще более приблизила мои вкусы к одинаковым занятиям с Чоканом. Чокан часто заезжал ко мне, чтобы узнать, не откопал ли я что-нибудь новое, интересное. Как мы рады были, собственно, как рад был Чокан, когда я наткнулся на известие о насильственном переселении народа киргизов из Енисейской губернии в долину р. Чу в Туркестане, совершенном каким-то зенгорским генералом.

П. П. Семенов, отправляясь во вторую поездку, вновь заехал в Омск. Он слышал обо мне еще в Алматах (нынешний Верный) и хотел меня видеть. Прихожу со службы домой и вижу на столе лист бумаги, на котором почерком Чокана написано: «Был у тебя с П. П. Семеновым. Жалеем, что не застали дома». Я бросился к Чокану на Мокрое, но только что вышел на ближайшую площадь, как вижу — ко мне направляются сани, и в них две фигуры, из которых одна в военной шинели с бобровым воротником. Я узнал по этой шинели Чокана, его спутник был П. П. Семенов. Все мы трое вернулись в мою квартиру. П. П. заинтересовался моими архивными работами, пересмотрел гербарий, собранный мною на Алтае, прочел мне лекцию по систематике растений и кончил тем, что сказал, что оба мы должны ехать в Петербург, что провинциальная жизнь может затереть нас. Это особенно было верно по отношению ко мне. Он обещал хлопотать, чтобы мне было дозволено поехать в Петербург, и уверил меня, что исключение из правила — дело не невозможное. После этого я стал тоже надеяться выбраться в Петербург, и проект Чокана совместного путешествия перестал казаться несбыточной мечтой.

Политические мои убеждения сильно расходились в это время с убеждениями Чокана. В течение 5 лет, как мы не виделись, Чокан все [это] время провел в Омске, в большом городе, где существовал кружок интеллигентных людей; я большую часть прожил в захолустьях, в Алматах или в одной из казачьих станиц на Алтае. А за это время большие перемены совершились; произошел севастопольский погром*¹⁹, появились «Губернские очерки» Щедрина, начал издаваться «Русский вестник» со статьями Громеки, Тургенев сделался любимцем публики, выступил Чернышевский. Новые веяния донеслись и до Омска. В какое-нибудь алтайское захолустье они доходили только с газетой или книгой, в Омск заносились и живыми людьми. Через Омск тянулись тогда освобожденные из ссылки декабристы и петрашевцы; некоторые группы назначили в Омске съезд для свидания. В обратную сторону провезли Бакунина — «саксонского короля», как публика звала его в сибирских городах*²⁰.

В Омск начали наезжать свежие люди. В кадетский корпус учителем приехал Лободовский, приятель Н. Г. Чернышевского. В семейство Капустиных возвратился из Казани, только что кончивши курс, студент С. Я. Капустин*²¹.

Самое сильное влияние на Чокана имел Дуров. Он отзывался о нем как о человеке с необыкновенными идеями и собирался как-нибудь свезти меня к нему. Между тем у нас с

Чоканом происходили большие споры в его квартире; каждый раз я уходил от него разобиженный, потому что чувствовал себя всегда побитым по всем пунктам, но разубедить меня все-таки Чокан не мог. Я все-таки думал, что моя сторона правая, только я не имею ни тех знаний, ни того искусства, какие были у Чокана, чтобы спорить с ним.

Однажды Чокан приехал ко мне и сказал, что он намерен меня свезти к Дурову. Мы поехали. Чокан познакомил меня с Дуровым, но сам у него долго не оставался, вскоре уехал, рассказавши ему только анекдот, случившийся в тот же день утром. Чокан был дежурным в доме генерал-губернатора. Последний, распекая в этот день какого-то явившегося к нему чиновника, поручил Чокану отвести его на гауптвахту, которая была на одной площади с генерал-губернаторской квартирой. Чокан со своим спутником подходит к гауптвахте и видит, что перед гауптвахтой расхаживает офицер, а под навесом в тени сидят два чиновника, арестованные раньше, и играют в шашки. Завидев генерал-губернаторского адъютанта с товарищем, игроки оставили игру и, улыбаясь, закричали: «Ведут! ведут!» Дуров немедленно оценил прелесть рассказа и заметил: «Точно картинка из Диккенса!»

Я провел у Дурова целый вечер. Он произвел на меня сильное впечатление, [в душе у меня произошел] настоящий переворот. Ни один человек так сильно не действовал на меня прежде. Уменье осторожно и гуманно обращаться с чувством другого человека сразу установило во мне доверие к этому человеку; передо мною был человек более 45 лет, разрушенный болезнями, наполовину труп; только глаза блестели живым огнем. Более всего он произвел на меня впечатление своей верой в будущее России и в прогресс человечества; он с искренней радостью встречал энтузиазм юноши, вдохновляемого наукой и стремлением [ехать] в университет. Я видел Дурова всего один, только этот раз. Через месяц после этого он уехал в Одессу, а потом за границу, где вскоре и умер^{*22}. Я ушел от него единомышленником Чокана, и споры между нами прекратились. Хотя этот вечер, собственно, есть эпизод из моей жизни, а не Чокана, но я привел его потому, что, несомненно, Дуров играл большую роль в воспитании Чокана. Он на меня произвел такое впечатление в течение одного вечера; Чокан же находился под постоянным его влиянием не менее, вероятно, года (от выхода Дурова из тюрьмы до отъезда его из Омска).

Дуров в этот вечер отозвался мне о Чокане, что он много успел начитать в литературе, относящейся до ближайшего к нему Востока, но очень беден общим образованием. Начитанность Чокана по Востоку удивляла и других, конечно, относительная, принимая в расчет, что он приобрел ее, не выезжая из провинциального города. П. П. Семенов также удивлялся тому, каким образом он мог составить в Омске богатую библиотеку по своей специальности^{*23}.

В 1858 г. я оставил Омск; весной 1859 г. я был уже в Петербурге и поступил вольнослушателем. Чокан остался в Омске. В это время нашей разлуки Чокан совершил свою поездку в Кашгар. Западносибирское начальство хотело собрать сведения о так называемом Шестиградии (Алтышаре)... Проникнуть туда можно было только инкогнито. Предприятие выполнить поручили Чокану, а помочь этому делу взялся семипалатинский «гость», выходец из Туркестана, Букаш^{*24}, который вел постоянную торговлю с Кульджой. Букаш вспомнил, что лет 20 назад в Семипалатинск выехал кашгарский торговец с малолетним сыном, которого звали Алимом. Из Семипалатинска кашгарец уехал в Саратов, и что с ним случилось, в Семипалатинске было не известно. Букаш знал только, что семейство это в Кашгар не возвращалось. Букаш придумал отправиться в Кашгар с караваном, взять с собой Чокана и выдать его за Алима, так как годы Чокана как раз были подходящими.

Чокан обрил голову, переоделся в азиатское платье, мундир с эполетами сменил на бешмет и отправился с караваном. В Кашгаре поверили Букашу, родственники Алима встретили мнимого Алима радушно, затаскали Чокана по гостям, угощали его, устраивали для него пиры и по алтышарскому обычаю женили его на временной жене (Алим приехал ведь только посмотреть родню и должен был возвратиться к отцу в Саратов). Написали

бабушке Алима, жившей в Кокандском ханстве за хребтом, письмо, что Алим выехал; бабушка выслала внуку аракин, расшитый золотом. Проживши зиму в Кашгаре, Чокан с Букашем пустился назад. Кашгарские власти узнали, что под именем Алима был переодетый русский офицер, и послали погоню вслед за караваном, но погоня эта не могла догнать каравана в пределах Алтышарского ханства, не посмела преследовать его в русских пределах и вернулась в Кашгар.

Долго Чокан не ехал с отчетом в Петербург. Азиатский департамент Министерства иностранных дел вызывал Чокана, но Чокан сидел в Омске, он старался убедить Чингиса Валиевича назначить ему содержание на время петербургской жизни; отец, имея большое семейство на руках и зная мотовство сына, хотел ограничить его небольшой суммой. Эти переговоры длились довольно долго и едва-едва пришли к концу, вероятно, не без влияния Гутковского.

Чокан в Петербурге. Он был прикомандирован к Главному штабу; ему было поручено составлять или редактировать карту Азии, которую Штаб готовился издать. За это он получил особый плакат; отец также помогал; вместе с жалованьем он имел едва ли не до 3000 руб. в год. Жил он обыкновенно на южной стороне, но улицы я перезабыл. Помню одну его квартиру в Иовом переулке около дворца великой княгини Марии Николаевны. Конечно, после приезда тотчас же он перезнакомился с ориенталистами, был у Березина, Казембека, Васильева*²⁵. Из литераторов он чаще всего встречался с Достоевским и Крестовским. Он рассказывал, будто бы в его квартире было последним написано наделавшее в свое время шуму и получившее отповедь Добролюбова стихотворение Крестовского «Об испанской актрисе и нищем»*²⁶. Был ли он представлен Тургеневу, я не знаю, не помню; кажется, был.

Чокан рассказывал, что однажды, когда он изображал «гром и молнию Невского проспекта» (современное выражение «Искры»), т. е. когда шел по Невскому, отпустив на длинном ремне саблю, Тургенев удостоил его своим вниманием и наступил ему на саблю. Это, вероятно, Чокан присочинил.

Для своих товарищей сибиряков, бедных студентов, Чокан устраивал особые вечера. На этих вечерах собиралось человек до десяти*²⁷. На них я встречал омича Анненского*²⁸ и Голубева*²⁹, офицера Генерального штаба, которого, кажется, было предположение назначить русским консулом в Кашгар и который потом в качестве астронома путешествовал в Семиречье.

Кроме П. П. Семенова Чокан бывал также у Бекетова.

На Восточный факультет Чокан не заглядывал*³⁰. Вставал он с постели в двенадцать часов, никогда ранее и, может быть, иногда позднее. Понятно, что для него посещение лекций было невозможно. Но на модных тогда лекциях Костомарова и некоторых других профессоров он появлялся. Вел жизнь в Петербурге веселую, участвовал в пикниках, [присутствовал] на гуляньях, ездил в театр, водился с гвардейской молодежью и участвовал в ее кутежах. Он обыкновенно не пил, но мотал деньги на увеселения. Петербургский климат, петербургские квартиры и такой образ жизни сильно подвинули вперед расстройство организма, которое впервые сказалось еще во время кадетской жизни в Омске. Хотя его во время пребывания в кадетском корпусе ежегодно отсылали в степь к отцу, в Сырымбет, тем не менее он вышел из корпуса с задатками чахотки. В Петербурге он пробыл едва ли более года; проведя [здесь] одну зиму, он почувствовал такое ухудшение здоровья, что доктора стали гнать его на родину. Он говорил мне тогда, что он едет собирать киргизские сказки. Тогда уже начал собирать тюркские сказки Радлов, и, вероятно, вопрос о киргизских сказках был поднят в Академии наук.

В 1864 г. я оставил Петербург и принял участие в экспедиции астронома Струве в качестве коллектора. Струве путешествовал одно лето в Южном Алтае, другое — в Тарбагатае. Я ему сопутствовал в обеих поездках, а на зиму в промежуток между поездками выезжал в Омск. В это время Чокан выехал в Омск из Сырымбета. Он прислал за мной, так как не мог ко мне прийти. Я застал его лежащим посредине комнаты под

киргизскими лисьими шубами. Подле него на полу лежала раскрытая книга Абель-Ремюза «Historia de la ville de Khotan». Чокан встретил меня словами: «Разлагаюсь!» Он мне показал какую-то шишку, появившуюся у него на носу. Он был очень грустен и жаловался на начальство. Гутковского тогда уже не было в Омске, генерал-губернатором тогда был Дюгамель. Хотя новый генерал-губернатор был человек добрый и просвещенный и желал сделать добро краю, но во главе управления киргизами уже не стояло человека вроде Гутковского. Чокана если и ценили, то не так, как при Гутковском. Впрочем, секретарем управления киргизами был Лещов*³¹, который был в приятельских отношениях с Чоканом. Шишку доктора скоро прогнали, по полное здоровье к Чокану уже не возвращалось. Впрочем, он встал с постели и начал выезжать.

В половине зимы я уехал на озеро Зайсан. Таким образом, в это время я виделся с ним не более как в течение двух или трех месяцев. С Зайсана к весне я возвратился в Семипалатинск и ждал тут приезда Струве, чтобы ехать с ним в Тарбагатай. Весной проехал через Семипалатинск генерал Черняев по дороге в Верный. Он ехал брать Ташкент. За ним потянулись инженеры, артиллеристы, а далее ученые и литераторы. Приехал ориенталист Н. А. Северцов, проехал приглашенный из Тобольска литератор Южаков*³², чтобы принять участие в экспедиции. В Семипалатинске шутили, что это вроде египетской экспедиции Наполеона выходит. Черняев пригласил и Чокана. Но он проехал через Семипалатинск позже, когда мы со Струве были уже на Тарбагатае. Так я более Чокана уже и не видел.

При взятии Аулие-Ата зверства русских войск над единоверцами Чокана или, может быть, и над соплеменниками его, т. е. над киргизами, огорчили его. Он увидел, что он не может более участвовать в военном походе, разошелся с Черняевым, и уехал в Верный, оттуда перебрался в аул султана Тентека*³³, управлявшего албанами (род Большой орды), кочевавшими к западу от Кульджи. Здесь он женился на дочери*³⁴ Тезека, но вскоре здесь же, на границе с Китаем, и умер. Он был похоронен близ дороги, ведущей из Копала в Верный, в степной долине, расстилающейся вдоль подошвы хребта Алтын-Эмель. Над его могилой был построен деревянный памятник вроде здания мечети*³⁵. Впоследствии генерал Колпаковский построил тут каменный памятник*³⁶.

Черты лица у Чокана были монгольские; он сам говорил, что султанское сословие, «белая кость» (ак сюек), отличается чертами лица от «черной кости» (кара сюек). У черной кости будто бы эти черты разнообразны, потому что она смешанной крови, составилась из разноплеменников и по типу ближе к западным тюркам. Султаны же — чингизиды — монгольской крови, и потому черты лица их однообразнее и представляют выдержанный монгольский тип. Но, тем не менее, он не был безобразен; лицо его можно было назвать даже миловидным, так эти черты были облагорожены. Европейское платье и европейские манеры носить волосы окончательно поработали «Монголию».

Чокан был большой лентяй. У него хватало терпения записать сказку или предание, но привести свои бумаги в порядок он никогда не мог. Говорили, что у него был большой портфель с материалами о киргизах*³⁷, но куда все это девалось, неизвестно. Эти записи его я сам отчасти видел. Им была записана большая сказка дикокаменных киргизов о Манасе, отрывки которой он мне читал. Я собирался переписать и привести в порядок его бумаги, но в Петербурге время уходило на заработок куска хлеба и так я прособирался. Часть [бумаг], конечно, погибла в ауле Тезека. Рассказы Чокана о киргизах были очень интересны. Конечно, он мог бы очень занимательно написать историю киргизских восстаний под предводительством его дядей Саржана и Кенесары. Рассказы об этой истории он оживлял отрывками из киргизских песен, пояснениями посредством поговорок, народных преданий, народных обычаев и обрядов. Степь тогда разделилась на две партии: русскую и национальную; последняя почему-то называлась ак арка (белая поясница). Более решительные сторонники последней держались кочевьем южнее, ближе к Голодной степи. Антагонизм двух партий [про]являлся во всех явлениях жизни, даже в тенсонах*³⁸ киргизских певцов на тризнах. Памятно было в народе состязание между

двумя певцами на тризне по богатому бию Сапаку*³⁹, тут певец Утебай*⁴⁰ пел куплеты, в которых доказывал пользу для киргизского народа от подчинения русской власти, а другой певец оспаривал его доводы.

Чокан рассказывал также анекдоты о более старинном киргизском импровизаторе Джанаке. Чокан знал много двоестиший или строф, сказанных Джанаком по разным случаям, — после того, как хан подарил ему жену, при отдаче кожи кожевнику для выделки. Особенно интересны сатирические стихи, в которых Джанак описывал свою поездку к джатакам и в которых он смеется над полуобруселыми, бросившими степные обычаи своими соплеменниками, живущими около казачьих станиц, смеется над витязями, едущими верхом на быках, в холщовых шароварах вместо плисовых с «матушкэ» (так он называл киргизку-джатачку) за спиной.

Чокан старался доказывать, что киргизы — мирный народ, это не наездники-грабители, это мирные пастухи. Посмотрите, говорил он, на их одежду, на их оружие. Чекмень с патронами, ятаганы и прочее им неизвестны; одежда киргиза — халат, оружие — жердь, посредством которой он ловит лошадей в табуне.

Народ свой он любил, это бесспорно; с прислугой из киргизов, с киргизами-просителями он обходился не всегда гуманно и нежных чувств, может быть, к киргизскому простонародью не питал, но он хотел ему добра, и служить будущему своего народа было его мечтой. Он говорил, что прежде всего любит свой киргизский народ, потом Сибирь, потом Россию, потом все человечество; одна любовь заключена была у него в другую, как те кунгурские, один в другой вставленные, сундуки, которыми знатные люди в Средней Азии любят одаривать друг друга. «Когда русские бьют киргизов, я восстаю против русских, — говорил он; когда французы бьют русских, сердце мое на стороне русских».

Жизнь в Петербурге и знакомство с кутящей богатой молодежью отразились дурно на его привычках; он вдруг приобрел такие привычки, как будто вырос в положении барчонка. Входил и выходил из дома, не запирая дверей, кто-нибудь другой был обязан запирать за ним. Встав с постели, он призывал своего слугу-киргиза; опрометью прибежал киргиз, неся лисий бешмет, и держал его в воздухе над спиной Чокана, не смея положить его. Чокан молча и рассеянно стоял посреди комнаты и не отдавал приказания; киргиз не смел четверть часа двинуться с места и стоял как вкопанный с распростертою в воздухе шубой. Таких барских привычек образовалось у него много. Но свои демократические убеждения он продолжал высказывать резко. Однажды на майском параде стоявший возле него какой-то молодой князь, которого толкнул какой-то серый кафтан, сказал: «Что это не почистят публику?» Чокан быстро заметил ему: «А вы читали, как Разин чистил публику?» Тогда только что вышла статья Костомарова.

В Омске это был самый злой язык, бритва. Его меткие слова, остроты или сочиненные им анекдоты подхватывались городской молвой. Он не останавливался перед сочинительством: часто, преследуя противника, выдумывал о нем небывалый анекдот, но по большей части так метко и вероподобно, что все верили. Об одном генерале, который получил Владимира и старался распахивать шубу, чтобы и зимой видели орден, он сочинил, будто бы он байты из владимирской ленты прикрепил на свои галоши. О генерал-губернаторе, который воображал о себе как о превосходном администраторе, а прославился «проектированными начальством горами», «вооруженными гумнами», «высочайше утвержденной религией»*⁴¹ и ходатайством о постановке ему памятника при жизни, Чокан сочинил, будто когда он оставил свой пост и когда Чокан первый привез ему известие, кто назначен на его место, генерал возразил: «Но ему там нечего делать! Я все dokonчил!» Генерал думал, что он завел в крае такое благополучие, что другим генерал-губернаторам оставалось только лежать на боку. Кто знал генерала, не мог не сознаться, что анекдот сочинен необыкновенно метко.

Любил ли Чокан, не знаю. В Омске у него были увлечения, но они далеко не заходили, и оканчивалось дело тем только, что он более обыкновенного декламировал

стихи Полонского и Майкова. Он говорил, что он не может жениться на русской девушке, потому что хочет служить своему киргизскому народу, а для этого должен остаться мусульманином. В действительности в религиозных вопросах он был рационалист.

В характере Чокана были черты, напоминающие черты характера Пушкина или Лермонтова. Преследовать насмешками кого-нибудь была у него какая-то духовная потребность, причем он иногда был неразборчив, что и кого он преследует.

Не щадил он своих ближайших друзей и смеялся не только над смешными действительно чертами или пошлостью, но и над физическими недостатками. Но это не мешало обнаруживать по временам самую нежную привязанность к своим друзьям, особенно после длинной разлуки. Но проходит месяц, другой, и эта привязанность куда-то прячется. Точно он не видит хороших качеств своего друга, а видит в нем только то, что мелочно и пошло. И он начинает его пилить и язвить. Нужно, чтобы с другом что-нибудь случилось — разлука или тяжкая болезнь, чтобы в Чокане снова обнаружилась с прежним жаром привязанность к другу и нежная заботливость.

Если б Чокан имел в киргизском народе читающую среду, он мог бы стать гением своего народа и положить начало литературному возрождению своих единоплеменников.

Чокан жил со своими современниками, обменивался с ними своими страстями, но интересовался судьбой больше людей будущего. Он ничего не сделал для будущего своего народа, которому хотел быть полезным, но что он мог сделать? Написать историю своего народа, составить сборник сказок, составить собрание народных обычаев или описать быт своего народа? Все-таки частные задачи не могли удовлетворить такую натуру, как Чокан. Настоящее призвание его было сделаться киргизским публицистом или литератором, пишущим для киргизских читателей, а жизнь хотела из него сделать ученого-ориенталиста или русского литератора, пишущего о киргизах.

Примечания:

*¹ После смерти Вали-хана киргизский народ избрал ханом Средней орды старшего сына Вали – Габайдуллу... (*Примечание Потанина*).

*² Ошибка Г. Н. Потанина: Чокан Валиханов родился в 1835 году.

*³ По Степному положению, составленному Сперанским, киргизская степь Сибирского ведомства была разделена на округа; каждый округ управлялся приказом (по-киргизски — диван); присутствие приказа состояло из четырех заседателей (из которых два были киргизы и два — русские) и председателя; последний был непременно киргиз, он избирался населением округа и назывался старшим султаном. Проект Сперанского предполагал, вероятно, что народ всегда будет избирать председателя из среды киргизских дворян, которые называют себя султанами. Впоследствии старшие султаны не всегда избирались из султанов, были старшие султаны из простой «черной кости». (*Примечание Потанина*).

*⁴ ...Кушмурунского округа, который состоял из земель, лежавших вокруг вершин Тобола. — Иначе говоря, из Аман-Карагайского, Убаганского, Пресногорьковского районов и Приишимских степей.

*⁵ Точнее в 1885 г. Некролог на смерть Мусы Чорманова был размещен в «Акмолинских областных ведомостях» в №8 за 1885 г.

*⁶ Драгоман – переводчик восточных языков при посла, консулах.

*⁷ Точнее: Е. И. Старков. «Краткое обозрение киргизской степи». («Тобольские губернские ведомости», 1860, № 26-31).

*⁸ Сулоцкий много писал статей по истории православных епархий в Сибири и истории распространения в ней христианства. (*Примечания Потанина*).

*⁹ Дортуар - общежитие.

*¹⁰ Однажды в классе, в котором находился Чокан, был составлен заговор по следующему случаю. Дежурный офицер обходил классы, только он вышел из класса Чокана, [как] кто-то из мальчиков, приперев дверь за вышедшим офицером, ударил

кулаком по двери. Офицер сейчас же вернулся: «Кто ударил?» Молчание или ответ: «Не знаем, не слышали!» Пушкин наказал класс лишением отпуска в воскресенье по домам, пока класс не выдаст шалуна. Целых полгода длилось наказание и кончилось тем, что Пушкин уступил. Класс распустили по домам, хотя имя виновника наказания осталось начальству неизвестным. Одноклассники Чокана говорили: «Тот, кто сделал шалость, должен был сам сознаться в своем преступлении, чтобы избавить класс от наказания. Но он трус, и у него не хватает мужества это сделать. А мы нравственно не можем его выдать». (*Примечание Потанина*).

*¹¹ Тогда порядки были иные; детей стыдились исключать из заведения из боязни испортить им жизнь и не стыдились исключать из заведения бездарных и бестолковых преподавателей. Теперь, кажется, наоборот; исключать мальчика и испортить его участь на всю жизнь ничего не стоит, а бездарности среди учителей процветают, потому что стыдно выжить человека, который еще не дослужил до пенсии. (*Примечание Потанина*).

*¹² ...с семейством сибирского чиновника Капустина. — Имеется в виду Яков Семенович Капустин, работавший в Главном управлении Западной Сибири, затем советником Областного управления сибирских казахов. Его жена Екатерина Ивановна Капустина была родной сестрой Д. И. Менделеева. В лице Капустиных Чокан нашел сердечных людей, свободных от предрассудков, с большой теплотой принявших его в свое семейство и следивших за развитием даровитого юноши.

*¹³ *Кювье (Cuvier) Жорж (1769-1832)* — французский ученый-естествоиспытатель, автор известного труда «Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара».

*¹⁴ Точнее *шуудай* (монг.) – мешок.

*¹⁵ «*Путешествие Палласа*» — точнее: «Путешествие по разным провинциям Российской империи», ч. I, СПб., 1773; ч. II, кн. 1-2, СПб., 1770, 1786; ч. III, СПб., 1788.

*¹⁶ «*Дневные записки Рычкова*» — точнее: «Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в киргиз-кайсацкой степи 1771 года», СПб., 1172.

*¹⁷ Имеется в виду артиллерийский офицер Евгений Колосов, учившийся в Омском кадетском корпусе вместе с Чоканом и Г. Н. Потаниным.

*¹⁸ Точнее: тюркского кагана.

*¹⁹ *Севастопольский погром*. — Речь идет о Крымской войне 1853-1856 гг.

*²⁰ Гасфорт, генерал-губернатор Западной Сибири, пожелал видеть Бакунина, и его привезли к нему. Дежурным был Чокан, так что он присутствовал на аудиенции. Гасфорт разговорился о венгерской кампании и упомянул Германштадт, Бакунин перехватил: «Под которым русские были разбиты». А ими командовал Гасфорт; он любил похвастаться Германштадским делом. В Сергиополе рассказывали, как однажды Гасфорт, осматривая сергиопольские земляные укрепления, попросил у инженера карандаш. У того не оказалось. «Офицер всегда должен иметь при себе карандаш». Он вынул из жилетного кармана карандаш и, показывая его офицерам, сказал: «Вот карандаш, которым были написаны переговоры под Германштадтом». (*Примечание Потанина*).

*²¹ Известный потом автор статей о русской крестьянской общине. (*Примечание Потанина*).

*²² Дуров приобрел жестокий ревматизм в тюрьме. Плац-майор Кривцов, заведывая военным острогом, вымогал у Дурова взятку; он думал, что Дуров богат. Но родственники Дурова не только не помогали ему в несчастье, но даже воспользовались событием, чтобы присвоить себе наследство Дурова. Поэтому Дуров говорил, что он не признает чувства родства обязательным. Ему помогали друзья, но их присылки хватало только на чай. Кривцов не верил ему и приказывал употреблять его на тяжелые работы, выкатывать бревна из реки в осенние морозы и т. п. Его нарочно гнали в холодную воду, и он схватил ревматизм, который причинял ему жесточайшие мучения. (*Примечание Потанина*).

*²³ Действительно, надо было удивляться его искусству добывать книги. Так, например, в Омске у него был уже полный оттиск статей Вельяминова-Зернова о сношениях с киргизскими ханами из «Оренбургских ведомостей», составлявших и тогда

большую редкость. (*Примечание Потанина*).

*24 Из какого Туркестана выходцем был Букаш, не знаю. Первоначально он имел свой «курган», усадьбу, в киргизской степи, в горах Аркат, к югу от Семипалатинска, а потом переехал в Семипалатинск. (*Примечание Потанина*).

*25 *Васильев В. П. (1818-1900)* — русский ученый-синолог, буддолог, санскритолог. Академик Петербургской Академии наук, декан Восточного факультета Санкт-Петербургского университета.

*26 Чокан любил иногда и присочинить. Когда на него напал припадок злости, он приписывал себе пороки, от которых волосы дыбом становились, для того только, чтобы поиздеваться над пуританством приятеля-плебея. (*Примечание Потанина*).

*27 *На этих вечерах собиралось человек до десяти* — Н. Ядринцев указывал цифру 20.

*28 Известный статистик, жена которого составила переделку «Робинзона Крузо», изданную Лесевичем. (*Примечание Потанина*).

*29 *Голубев А. Ф. (1832-1866)* — российский геодезист и географ; подполковник Корпуса военных топографов Русской императорской армии.

*30 *На восточный факультет Чокан не заглядывал.* — Об этом писал и Н. М. Ядринцев. Отсутствие интереса у Чокана к этому факультету объясняется тем, что там не читались теоретические лекции на общественно-политические, историко-социальные, литературные и философские темы, которые больше интересовали Чокана.

*31 Лещов теперь служит в одном из петербургских министерств и может порассказать о судьбе Чокана за это время лучше и доставить более верные сведения, чем я. (*Примечание Потанина*).

*32 Южаков прославился в свое время паломничеством в Святую землю, напечатал два рассказа в «Современнике» о своем пребывании в Бейруте и Болгарии, пешком пришел в Петербург из Сирии и попал в «Искру» в числе других «калик переходящих». (*Примечание Потанина*).

*33 Так в тексте, следует *Тезек*.

*34 Не на дочери, а на сестре Тезека Айсаре.

*35 *Над его могилой был построен деревянный памятник вроде здания мечети.* — Точнее не деревянный, а кирпичный, только купол был возведен из дерева.

*36 Точнее: надгробный камень из белого мрамора с надписью.

*37 То есть о киргизах и казахах.

*38 В данном случае речь идет о поэтических состязаниях киргизских акынов, защищавших интересы противоположной группировки или партии.

*39 *Сапак Танирбергенов* — крупный скотовладелец Акмолинского округа.

*40 *Утебай (Өтебай)* — баянаульский певец, вступивший в поэтическое состязание с сарысуйским певцом Култумой на асе бия Сапака Танирбергенова.

*41 «Вооруженные гумна» — в Копале барантчи напали на косцов, жнецов и жниц; генерал проектировал вокруг крепости Копальской устроить гумна, окруженные брустверами. «Проектированные горы» — генерал велел на карте Киргизской степи обозначить горы, где они, по его мнению, должны быть, хотя топограф в действительности их не видел; «высочайше утвержденная религия» — Гасфорт вывез в Петербург предположение составить переходную религию, смесь ислама с учением Христа, чтобы облегчить киргизам переход в христианство. «Высочайше утвержденная религия» — это выражение любил употреблять К. Д. Кавелин, когда рассказывал о проекте Гасфорта. (*Примечание Потанина*).

Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 346-368